

Глава II

Первое время после выхода из пансиона. – Мои литературные упражнения и чтение. – Классицизм и романтизм. – «Notre Dame de Paris». – Моя неудавшаяся попытка печататься. – Первый нравственный толчок, полученный мною по поводу моего рассказа о подаренной девке. – Мои знакомства. – Фантазия о военной службе и о камер-юнкерском мундире. – Определение меня на службу. – Моя отставка. – Первая моя напечатанная повесть. – Встреча с Пушкиным у Смирдина. – Несколько слов о Пушкине. – Толки о «Торквато Тассо» Кукольника и мое знакомство с его автором.

Долго после выпуска нашего из пансиона я решительно не знал, что делать с собой и куда приютить голову. Знакомых у меня почти никого не было; я шатался бесцельно по петербургским улицам, вымышляя, как бы убивать длинные зимние вечера и ничего не придумывая, потому что трудно что-нибудь придумать без денег (а денег у меня было очень мало). Я просиживал обыкновенно по несколько часов в мелких кондитерских, на Гороховой и на Вознесенской улице, за чашкой скверного шоколада, с двумя или тремя моими товарищами и в том числе с М. А. Языковым, с которым мы дружно, не разлучаясь, шли в жизни. Но кондитерские представляли мало ресурсов к развлечению: маленькая, грязная комнатка, освещенная одной тускло горящей свечкой, слоеные пирожки на горьком масле, засаленные чубуки с перышком или с сургучом вместо янтаря – все это наводило тоску. Интересов у нас никаких не было, разговор вертелся около вседневных предметов и скоро прекращался; мы, зевая, смотрели друг на друга, как бы спрашивая: «господи! да неужели же это жизнь, которая издали казалась нам так соблазнительной?» Остановливаясь у какого –нибудь ярко освещенного дома, у подъезда которого стояли экипажи, мы с любопытством и завистью смотрели на окна, в которых мелькали силуэты веселящихся мужских и женских фигур... До нас глухо доходили звуки музыки. «Как там весело! – думали мы, – счастливы! счастливы!.. Вот она, эта жизнь-то, о которой мы грезили, но как же достичь ее?» И не зная, как разрешить этот вопрос, понуриив головы, расходились печально по домам.

– Эх, господа! – сказал мне с Языковым однажды один из наших товарищей, пребойкий и преразбитной малый, окончивший впоследствии очень трагически свое существование, – вы дрянь, какие-то вялые, запуганные, робкие, вы не умеете жить... Погодите, вас надо расшевелить... Я вам устрою такой вечерок, за который вы поблагодарите меня.

– Когда? где? – спрашивали мы, оживляясь.

– Завтра вечером в кондитерской на Вознесенской.

– Да уж нам наскучила эта кондитерская, – возразили мы, хмуря брови.

– Ах вы, шуты! – перебил нас товарищ, – разумеется, сидеть за чашкой шоколада и за трубкой табаку вдвоем скучно... Да что тут толковать? Собирайтесь-ка туда завтра вечером, часов в 8, – эта кондитерская вам покажется раем. Я уж приготовлю вам чудесные сюрпризы.

На другой день еще до восьми часов мы явились в кондитерскую и сидели, с каким-то трепетом ожидая нашего товарища. Он не заставил нас долго ждать, поздоровался с нами и сказал нам, улыбаясь таинственно:

– Погодите, погодите... сейчас... Потом закричал:

– Карл Иваныч! – и когда кондитер явился на этот крик, он велел принести свечей и что-то шепнул ему на ухо. Кондитер значительно кивнул ему головой и сказал:

– Я уже послал. Будут, будут!

Я взглянул на Языкова, Языков на меня. Нас начала бить дрожь от страха и ожидания.

Минут через десять вошли в комнату две девицы маленького роста, очень невзрачные и одетые не совсем чисто – что-то вроде горничных или модисток... Товарищ наш встретил их криками и объятиями, усадил на диван возле нас и велел подать им шоколаду. Девицы жеманились, мы с Языковым дрожали и не смели заговорить с ними. Товарищ наш смеялся над нами и толкнул одну из девиц на Языкова, который вскрикнул и отшатнулся от нее.

В эту минуту отворилась дверь и в дверях появился квартальный с суровым взглядом...

– Это что такое? – вскрикнул он, – дебош! Сейчас все вон отсюда!

Девицы убежали; мы бросились в испуге и стыде к нашим шинелям и вышли из кондитерской, сопровождаемые угрожающим взглядом квартального.

Так печально окончился вечерок, который хотел задать нам наш товарищ. Он вышел из кондитерской так же смиренно, как мы, но, отойдя несколько шагов, объявил нам, что он непременно приколотит этого мерзавца квартального.

С тех пор эти кондитерские до того огадились нам, что мы даже избегали проходить мимо них.

Праздность и пустота до болезни начали томить меня, а домашние мои говорили мне:

– Вот когда ты поотдохнешь немного, надобно будет, друг мой, подумать и о службе.

От нечего делать я начал заниматься устройством своей комнаты и убрал ее с некоторым эффектом и комфортом. Я был очень счастлив при мысли, как должна будет понравиться эта комната Языкову и Кречетову. Осветив ее однажды вечером и полюбовавшись ею при освещении, я лег на диван и начал фантазировать о том, как бы сделаться литератором. При мысли, что мое имя будет в печати под какою-нибудь повестью или под каким-нибудь стихотворением, приятная дрожь пробежала по моему телу, и я ощутил потребность сейчас же написать что-нибудь... Я призадумался, и в голове моей начали слагаться стихи «К деве» на манер Языкова, который производил на меня тогда сильное впечатление. Через час было готово стихотворение в четырех куплетах. Я продекламировал его вслух и остался очень доволен его звучностью. Мне смертельно захотелось сейчас же прочесть его Кречетову... Что скажет он? Только что я подумал об этом, как раздался звонок и Кречетов явился передо мною. Я чуть не бросился к нему на шею от радости.

Кречетов осмотрел мою комнату с большим вниманием и произнес:

– О, да вы, батюшка, устроились очень мило! с эдаким эстетическим вкусом... все эти безделушечки расположены так удачно...

Кречетов опустился на мягкое кресло и продолжал похвалы моим декораторским способностям. Я прочел ему мое стихотворение.

– Славный стих, звучный, языковский! – проговорил Кречетов, взяв из моих рук тетрадку, в которую я четко вписал это стихотворение.

Он продекламировал его сам и сказал:

– У вас, батюшка, талант!.. Да, да! Продолжайте, продолжайте...

И я в самом деле продолжал сочинять почти каждый день по стихотворению, подражая всем тогдашним знаменитым поэтам, так что вскоре тетрадка была вся исписана стихами. Несмотря, однако, на похвалы Кречетова, я и не помышлял о том, чтобы послать даже лучшее, по моему мнению, из этих стихотворений в какой-нибудь журнал. Литераторы и журналисты вообще казались мне существами высшими, недоступными, с которыми вступать в сношения

было бы с моей стороны неслыханною дерзостью; те же, которые печатали свои сочинения в «Северных цветах», в «Литературной газете» и в «Московском телеграфе», представлялись мне уже почти полубогами... Я писал стихи так, от праздности, и самолюбие мое было покуда удовлетворяемо похвальными отзывами моего снисходительного наставника.

Любимым чтением моим, кроме наших журналов и альманахов, были романы Вальтер-Скотта. Я перечел все их во французских и русских переводах.

В это время в Европе была в самом разгаре война классиков с романтиками. Имена французских сподвижников романтизма – Гюго, Дюма, Барбье, Сулье, Сю, де Виньи, Бальзака – начинали приобретать у нас громкую известность. Гюго своим предисловием к «Кромвелю» нанес последний удар классицизму, как выразался Кречетов, приходивший в неистовый энтузиазм от этого предисловия и всегда носившийся с «Кромвелем». От Вальтер – Скотта я перешел к французским романтикам и читал их с жадностью. Борьба классицизма с романтизмом несколько раздражила мои умственные способности, давно требовавшие какой – нибудь пищи. Я не задумываясь тотчас же стал под знамена романтизма, представителями которого у нас считал Полевого, Пушкина и его школу, и торжествовал победу романтиков, имея, впрочем, очень слабое понятие о том, что за звери классики. Под словом классицизм я неопределенно разумел вообще все отжившее, старое, обветшалое, и наоборот, под словом романтизм – все живое и новое, к которому начинал чувствовать инстинктивное, непреодолимое влечение. Почему возникла эта борьба? Какой смысл заключался в этом явлении? Я не мог понимать этого. В торжестве романтизма я праздновал побиение Толмачевых, Роговых, Найденовых, Зябловских, всех наших маленьких деспотов и притеснителей, упорно державшихся за свои узкие и гнилые понятия и за свою пошлую, рабскую мораль. Все наши учителя, за исключением Кречетова, все инспектора, все гувернеры с презрением и ожесточением отзывались о новом литературном движении и считали его глубоко безнравственным. Мы считали их классиками. Этого одного уже было довольно, чтобы мы сделались самыми отчаянными романтиками.

Литературная революция, как известно, совпала во Франции с политической революцией... И в литературе и в политике новые идеи торжествовали; но я не имел ни малейшего понятия о значении политических движений... Июльская революция не произвела на меня ни малейшего впечатления. Я слышал мельком, что Карл X прогнан и что вместо него вошел на престол Людовик-Филипп. За что прогнан один и сделан королем другой? Это меня нисколько не интересовало. Кроме литературы, ничто не трогало меня и я не имел ни о чем понятия.

После появления «Notre Dame de Paris» я почти готов был итти на плаху за романтизм.

Я узнал о «Notre Dame de Paris» из «Московского телеграфа». Вскоре после этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас же расхвачаны. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил к чтению...

Я прочел «Notre Dame» почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывал такого наслаждения от чтения. Клод Фролло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили из моего воображения; сцену, когда Клод Фролло приводит ночью Эсмеральду к виселице и говорит: «выбирай между мною и этой виселицей» – я выучил наизусть... Я больше двух месяцев бредил этим романом и перечитывал отрывки из него Кречетову и некоторым из моих товарищей, с которыми более симпатизировал.

Успокоясь немного от волнения, я принялся переводить последние две главы «Notre Dame», перевел их с любовью, тщательно обделал слог и прочел Кречетову. Он нашел мой перевод образцовым и посоветовал послать в «Московский телеграф». Я переписал его, еще поисправил местами и послал.

Более полугодом после того я с трепетом развертывал каждую вновь получаемую книжку, но – увы! – мой перевод не появлялся. Он так и сгинул в редакции «Телеграфа». Эта первая неудавшаяся попытка печататься ненадолго, впрочем, обескуражила меня.

Охота к чтению не давала еще мне совершенно погрязнуть в ничтожестве праздной и бессмысленной среды, окружавшей меня. Романы Вальтер-Скотта и Гюго пробудили во мне желание узнать средневековую историю.

Литература представлялась мне, впрочем, как-то совершенно отдельно от жизни. Она приятно щекотала и раздражала мою фантазию, мало способствуя развитию мысли. Ничто окружавшее меня еще не возбуждало во мне никакого вопроса, не наводило ни на какое раздумье или сомнение. Все предрассудки, дикие понятия и взгляды, внушенные мне с детства и развитые в пансионе, оставались во мне неприкосновенными.

Однажды ко мне зашел один из моих товарищей. В разговоре с ним я упомянул, между прочим, к чему-то, что матушка моя подарила девку одной из своих родственниц. Товарищ мой, грубый по натуре и ничего почти не читавший, был, однако, поразивее меня. Он скорчил при этих словах гримасу и сказал мне:

– Как тебе не стыдно говорить об этом, и еще так хладнокровно, как будто о самой простой вещи?

– Отчего же? Что ж тут необыкновенного? Разве она не имела права подарить свою крепостную девку? – возразил я с удивлением.

– Любезный друг, я знаю, что это делают, что мужиков, лакеев, баб и девок продают и дарят, да уж об этом люди образованные вслух-то стыдятся говорить. Ведь человек не вещь, хоть он и крепостной; у него такая же душа, как у нас с тобою, и он так же, как и мы, создан по образу и подобию божию.

Эти простые слова поразили меня... Я в первый раз почувствовал дикость своих понятий – и покраснел до ушей. Долго по уходе товарища я сидел в грустном раздумьи.

«Что же это такое?» рассуждал я с самим собою. «Каким образом, в самом деле, человек может владеть человеком на правах вещи и располагать его участью по своей прихоти, по своему безумному произволу? От кого он мог получить такое жестокое, такое нелепое право?» И я удивлялся, отчего эти вопросы прежде не приходили мне в голову.

Это был первый нравственный толчок, данный моей мысли. Она пробудилась и начала несколько тревожить меня. Мне сделалось как будто совестно, что я владею крепостными людьми, и я стал обращаться с ними гораздо мягче и осторожнее. Этим очень были недовольны некоторые из близких ко мне... «Ты избалуешь всех людей в доме, друг мой, – говорили мне, – надобно, чтобы они чувствовали, что ты барин, и боялись бы тебя».

После выпуска я поддерживал отношения с теми из товарищей, с которыми более симпатизировал, и познакомился с их семьями, но самолюбие, мучившее меня, что я не имею никаких светских талантов, делало меня диким и застенчивым, особенно в дамском обществе, которого поэтому я старался избегать.

Некоторые из близких мне пламенно желали, чтобы я был военный, и непременно кавалерист, и заставили меня брать уроки в верховой езде. Эполеты, сабля и шпоры очень смущали мое воображение, но мысль, что я должен еще поступить в юнкерскую школу, засесть снова на школьную скамью и держать экзамены – охлаждала мои воинственные порывы... Я решил вступить в штатскую службу, вопреки желаниям моих близких, которые утешались мыслию, что я буду камер-юнкером. Мне самому очень хотелось надеть золотой мундир. Я даже несколько раз видел себя во сне в этом мундире и в каких-то орденах и, просыпаясь, всякий раз был огорчен, что это только сон.

Наконец я определился на службу, без жалованья, в департамент государственного казначейства, под протекцию директора этого департамента Д. М. Княжевича, который был товарищем моему отцу по Казанскому университету.

Меня заставили переписывать бумаги и сочинять какие-то отношения. Эти занятия мне ужасно не понравились. Я приезжал в департамент поздно и не высиживал до конца. Мой начальник отделения, брат Д. М. Княжевича, Владислав Максимович, смотрел на меня неблагоприятно, – и действительно, на него и на всякого порядочного и серьезного человека я должен был производить самое неприятное впечатление!

Однажды я приехал в департамент в вицмундире и в пестрых клетчатых панталонах, которые только что показались тогда в Петербурге. Я надел такие панталоны один из первых и хотел щегольнуть ими перед департаментом. Эффект, произведенный моими панталонами, был выше моего ожидания. Когда я проходил через ряд комнат в свое отделение, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятия, улыбаясь толкали друг друга и показывали на меня. Этого мало. Многие столоначальники и даже начальники отделения приходили в мое отделение посмотреть на меня; некоторые из них подходили ко мне и говорили:

– Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны? – и дотрогивались до них.

А один из столоначальников – юморист – заметил:

– Да они, кажется, из той же самой материи, из которой кухарки делают себе передники.

Панталоны мои произвели такой шум и движение в департаменте, что В. М. Княжевич обернулся к моему столу, посмотрел на меня искоса и потом, проходя мимо меня, заметил мне, что я неприлично одеваюсь.

По случаю холеры, появившейся в Петербурге в 1831 году, я вовсе перестал ходить в департамент. Когда после трехмесячного отсутствия я появился на службу, В. М. Княжевич подозвал меня к себе.

– Отчего вы так долго не были в департаменте? – спросил он меня, изменяясь в лице.

– Я был нездоров, – отвечал я.

– Вы должны были об этом уведомить... и я вообще должен сказать вам, что так служить нельзя. Вы являетесь в 12 часов, когда все приходят в половине десятого...

– Да я не получаю жалованья, – перебил я.

– Это не отговорка. Если вы желаете продолжать здесь службу, то должны служить как все. В противном случае...

– Я должен оставить службу, вы хотите сказать?.. – снова перебил я. – Что ж такое, я выйду в отставку.

– Как вам угодно... Я вас не удерживаю... – сердито заметил Владислав Максимович.

Я уехал из департамента с намерением на другой же день подать в отставку, но все откладывал день за день, а между тем в департамент не показывался.

Так прошло два месяца.

В одно прекрасное утро явился ко мне департаментский курьер и объявил, что меня просит к себе директор департамента.

Д. М. Княжевич был человек очень горячий и в минуты гнева высказывался очень резко. Такое приглашение не предвещало ничего доброго, и я отправился в департамент с неприятным ощущением.

Я вошел в директорскую комнату и остановился перед директорским столом.

Дмитрий Максимович был погружен в занятия.

Через минуту он поднял голову от бумаг и оборотился ко мне.

– Я просил вас к себе, – сказал он мне, к удивлению моему, довольно мягким голосом, – чтобы переговорить с вами насчет вашей службы. Вы совсем не бываете в департаменте...

– Я хочу выйти в отставку, ваше превосходительство, – сказал я.

– Напрасно, – возразил директор, – я знаю, что вы имели объяснение с моим братом. Брат мой человек больной и желчный. Он, может быть, сказал вам что-нибудь лишнее, а вы как молодой человек сейчас оскорбились. Забудьте это. Мне было бы очень приятно, чтобы вы продолжали службу под моим начальством. Мне дорога память вашего отца, и я хотел бы что-нибудь для вас сделать.

Я был тронут этими словами, поблагодарил его за участие, но, несмотря на то, отвечал, что уже твердо решился выйти в отставку, чувствуя совершенную неспособность к такому роду службы.

– Ну, как вам угодно, – отвечал Дмитрий Максимович, – принуждать я вас не могу.

Я в тот же день подал в отставку и более года не вступал в службу, чего и не подозревали мои близкие, всё мечтавшие о том, что я скоро получу звание камер-юнкера.

Всякое утро я уезжал из дому, как будто на службу, а между тем толкался по улицам; заходил в кондитерские и с жадностью прочитывал печатавшуюся тогда в «Сыне отечества» повесть Марлинского «Фрегат Надежда», думая: «господи, если бы написать что-нибудь в этом роде!»

Пользуясь легким нездоровьем и запрещением доктора выезжать из дому, я со страхом принялся за сочинение повести. Я не имел никакого понятия о жизни, никакого взгляда на жизнь, даже внешние ее явления схватывал рассеянно, вскользь, а кое-какая способность к наблюдательности, без всякого взгляда, не могла мне служить ни к чему. Что было делать? Я после долгих усилий составил, однако, очень эффектный, по моему мнению, сюжет, разумеется в высшей степени нелепый, стараясь рабски подражать манере изложения и слогу Марлинского.

По мере писания я прочитывал ее Кречетову. Кречетов похваливал, в особенности слог, но замечал, что я касаюсь только внешней стороны при изображении лиц, мало заглядывая вглубь человеческого сердца; что моим лицам недостает психического развития, и тому подобное. При этом он прибавлял, что необходимо быть строгим к самому себе, что, написав произведение, надо положить его года ни три; через три года перечесть, исправить и положить еще на три года, потом снова перечесть и снова исправить и еще положить на год, а уже после этого, прибавив кое-какие штрихи – с богом печатать; что он сам поступает всегда по этим правилам и что у него громада весьма серьезных сочинений, которые, может быть, скоро появятся в печати.

Руководствоваться рецептом Кречетова у меня не достало терпения. Мне смертельно хотелось видеть поскорее свое произведение напечатанным, и я послал мою повесть в редакцию «Сына отечества».

Через три месяца первая половина ее появилась в печати. Я дрожащими руками взял номер журнала и в волнении, почти сквозь слезы умиления, перелистывал его. В эту минуту я был счастливейшим человеком в мире и несколько дней после этого прохаживался по улицам с особенною гордостью и торжественностью... Кречетов был также очень доволен моим

дебютом и замечал, что когда он прочел мою повесть в печати, она показалась ему несравненно лучше.

Поощренный напечатанием моего произведения, я начал обдумывать другую повесть, а между тем все пописывал стишки и исписал ими три довольно толстые тетради, но не решался отослать ни одного стихотворения в печать. Несмотря на одобрения Кречетова, я чувствовал, что не имею поэтического дара, и полагал, что мое настоящее призвание – проза. Кречетов согласился, когда я ему это заметил.

Вторая повесть моя, имевшая несколько поболее смысла и простоты, напечатана была в «Телескопе». Она понравилась некоторым литераторам, и, что странно, людям, не имевшим между собою ничего общего – Белинскому и Воейкову. Воейков воспел ей, в своих «Литературных прибавлениях к Инвалиду», такую преувеличенную похвалу (такова уже была его манера), которая более походила на иронию, и вздумал почему-то приписать эту повесть Белинскому, который в это время уже обратил на себя всеобщее внимание своими «Литературными мечтаниями» и первыми критическими статьями в «Телескопе».

После этой повести издатели журналов и альманахов обратили на меня внимание и начали обращаться ко мне с просьбами о повестях. Я уже не шутя стал считать себя литератором. Перелистывая однажды тетради с моими стихотворениями (их накопилось до шести), я выбрал из них только пять стихотворений для печати, а остальное сжег...

Но я зашел слишком далеко и должен обратиться назад.

Гораздо спустя напечатания моей первой повести, однажды часа в три я зашел в книжный магазин Смирдина, который помещался тогда на Невском проспекте в бель-этаже дома лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека: один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой эспаньолкой, одетый франтовски; другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдавшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского.

До этого я нигде никогда не встречал Пушкина. Я преодолел робость, которую ощутил при первом взгляде на этот великий литературный авторитет, подошел к прилавку, у которого он остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной и даже добродушной. Он спросил у Смирдина не помню какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко, не смотря на Пушкина, и потом, с улыбкою обратясь к Смирдину, начал с некоторою торжественностью:

К Смирдину как ни придешь...

и остановился.

Смирдин заюлил и начал ухмыляться. Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкою и покачал головой. Я думал, глядя на господина с рыжей эспаньолкой: «Счастливцев! как он обращается с великим человеком. Кто бы это такой?»

С этим вопросом обратился я к Смирдину, когда Пушкин вышел из лавки.

– Это-с С. А. Соболевский, – отвечал Смирдин, – прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича-с... Он пишет на всех удивительнейшие эпиграммы в стихах-с.

После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромпта Пушкина:

К Смирдину как ни придешь,
Ничего не купишь,
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь.

Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным, да и какое право имел я на знакомство с ним? Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбекером. Родные Дирин получали через III отделение письма от ссыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом книжки Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу.^[1]

Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательности. Пушкин действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубович гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий.

Энтузиазм Дирин к Пушкину доходил до благоговения. Когда какой-то мой перевод стихов Гюго был напечатан рядом со стихами Пушкина в «Библиотеке для чтения», Дирин, уведомляя меня об этом, писал: «Ты пойми, какая это высокая честь. Ты счастливеец. Я не знаю, чего бы я ни дал, чтобы видеть имя свое, напечатанное рядом с именем Пушкина».

Через несколько лет после смерти Дирин я как-то завел речь об нем и об его отношениях к Пушкину с П. А. Плетневым.

– А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему?

– Почему же? Ведь он был со всеми таков.

– Нет, – отвечал Плетнев, – с ним он был особенно внимателен – и вот почему. Я как-то раз утром зашел к Пушкину и застаю его в передней провожающим Дирин. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивила меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее.

«– С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит, – отвечал, улыбаясь, Пушкин.»

«– С какими людьми? – спросил я с удивлением.»

«– Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбекера... Понимаешь? Он служит в III отделении.»

«Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение».

Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина; он пришел бы от этого в отчаяние, но Пушкин после этого обнаружил к нему уже действительное участие, что доказывает и предисловие к его переводу Сильвио Пеллико...

Я следил за литературою усердно, читал от доски до доски все журналы и все отдельно выходившие замечательные литературные произведения. При появлении «Торквато Тассо» Кукольника я пришел вместе со многими в восторг от этого произведения. «Какие колоссальные надежды должен подавать поэт, выступающий с таким произведением!» – говорили тогда в литературных кружках и в обществе.

Петербургская молодежь, занимавшаяся литературой, в высшей степени заинтересована была личностью автора «Тасса». Носились слухи, что он привез с собою

множество удивительных произведений, долженствовавших сделать переворот в русской литературе.

– Хочешь ли познакомиться с Кукольниковом? – сказал мне однажды один из моих приятелей, Ф. Т. Фан-дер-Флит. – Завтра вечером он читает у Гижилинского свою новую драму. Приезжай ко мне. Мы поедем вместе. Я тебя познакомлю с Гижилинским, а Гижилинский познакомит нас с Кукольниковом. Говорят, новая драма Кукольника – чудо!

Нечего говорить, с какою радостью я принял это предложение.

Вождеденный вечер наступил.

В 7 часов мы были у Гижилинского.

Через полчаса явился поэт.

В это время еще он имел некоторое сходство с тем идеализированным портретом, который впоследствии был сделан Брюлловым. На нас произвела сильное впечатление его сухощавая и длинная фигура, его бледное и продолговатое лицо, черные задумчивые глаза и какой-то особенный тон, который казался нам пророческим. При этом Кукольник говорил по – печатному на букву о, что придавало особенную вескость и торжественность его словам.

Слушателей собралось человек десять. Гижилинский всех нас представил поэту. Кукольник каждого из нас обнял и поцеловал.

– Господа! – произнес он, – от души рад с вами сблизиться. Вы любите и чтите искусство, а искусство – моя святыня, которой я обрек себя на служение. Все любящие искусство близки мне – следовательно, хотя я вижу вас в первый раз, но уже считаю вас как бы родными и близкими себе.

Кукольник вскоре приступил к чтению «Руки всевышнего», заметив, впрочем, что он не считает эту драму лучшим своим произведением; что у него задуман целый ряд драм из жизни итальянских художников, требовавших огромной эрудиции, из которых одна – «Джулио Мости» – приведена почти совсем к окончанию, и что это его любимое, задушевное произведение.

Кукольник прочел нам свою драму мастерски, с эффектом. Слушатели были плохие судьи: им не могло притти в голову ни о том, какая мысль движет произведением, ни о том, заключает ли оно в себе хоть тень исторической правды. Мы восхищались только эффектными стихами и монологами. Этого одного довольно было, чтобы «Рука всевышнего» показалась нам замечательным произведением.

Когда Кукольник кончил, было уже около часа. После изъявления восторгов начались приготовления к ужину.

За ужином Кукольник говорил неумолкаемо, и каждое слово его казалось нам чуть не откровением. Он поразил нас своими обширными и многосторонними сведениями, что было очень немудрено при отсутствии в нас всяких сведений.

После ужина он сел на диване. На столе перед диваном поставлена была бутылка с красным вином. Мы расселись кругом поэта. Речь его становилась все вдохновеннее и возвышеннее – по крайней мере нам так казалось. По поводу кем-то изъявленного восторга о его «Тассе» Кукольник заметил, что это произведение детское, слабое сравнительно с его «Мости» и с тем рядом произведений, которые замышлены им.

– Сказать ли вам, господа, что смущает меня, – произнес Кукольник в заключение, – я с вами буду говорить прямо: меня смущает мысль, что русская публика еще не доросла до понимания серьезных произведений. Много ли в ней таких, как вы? Мне кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски.

Слова эти произвели на всех нас потрясающее впечатление. «У-у! каков!»— подумали мы, перемигнувшись друг с другом, и с некоторым страхом взглянули на Кукольника, как на существо, выходящее из ряда вон, высшее... Потом мне показалось немного подозрительным, чтобы можно было так же хорошо владеть чужими языками, как своим отечественным, но я тотчас же устыдился моего сомнения.

– Мне это больно, горько, – продолжал поэт, и на глазах его, по крайней мере так показалось нам, были слезы, – я люблю Россию горячо, но делать нечего! все-таки, я думаю, придется бросить русский язык...

Мы начали умолять поэта, чтобы он не делал этого и не лишал бы русскую литературу и наше любезное отечество славы; что он и в России найдет себе много истинных приверженцев и почитателей... Что касается до нас, мы почти дали ему клятву в верности на всю жизнь...

Кукольник долго молчал. Бутылка была опорожнена. Он прислонился к спинке дивана и закрыл глаза.

Через несколько минут он поднял веки и медленным взглядом обвел всех нас.

Этот взгляд показался мне до того многозначительным, что я вздрогнул.

– Благодарю вас, искренно и от всего сердца благодарю, – произнес Кукольник глубоко растроганным голосом, – не за себя благодарю – за искусство, великое дело которого вы так горячо принимаете к сердцу... Да, я буду писать по-русски, я должен писать по-русски, уже по одному тому, что я нахожу таких русских, как вы!..

Кукольник встал, обнял нас и сказал, что он счастлив, приобретя себе таких друзей, как мы...

– Добрый хозяин дома даст нам еще бутылку вина, – прибавил Кукольник, – и мы скрепим наш союз брудершафтом.

Мы расстались с поэтом часа в четыре утра, убежденные в его гениальности.

Я долго не мог заснуть и все думал о счастье быть другом такого поэта и говорить ему ты..

Примечания

1. Перевод Дирина «Об обязанностях человека, наставление юноше», с эпиграфом «Правда бо бессмертна есть», напечатан в 1836 г. Пушкин, вместо обещанного предисловия, напечатал в 3 No своего «Современника» краткий взгляд на сочинения Сильвио Пеллико, и Дирин перепечатал этот отзыв в вступлении к своему переводу.